

Амаяк Тер-Абрамянц

**ВИТЬКИН
КОММУНИЗМ**

Рассказы и были

Амаяк Тер-Абрамянц

Витькин коммунизм.

Рассказы и были

Тер-Абрамянц А.

Витькин коммунизм. Рассказы и были / А. Тер-Абрамянц —

ISBN 978-5-44-988869-3

НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Рассказы и были представляют опыт жизни автора в СССР и его крушение. В рассказе-были «Красный понедельник» описывается революция 1991 года и кровавые события октября 1993-го в Москве. Рассказы «Снега России», «Стукач», «Мёртвая точка», «Витькин коммунизм», «Наши» публиковались ранее в сборнике «Рассеянный склероз или серебряный шар будущего».

ISBN 978-5-44-988869-3

© Тер-Абрамянц А.

Содержание

Витькин коммунизм	6
Стукач	11
Много ли нам надо воздуха?	16
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Витькин коммунизм Рассказы и были

Амаяк Тер-Абрамянц

© Амаяк Тер-Абрамянц, 2020

ISBN 978-5-4498-8869-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ВИТЬКИН КОММУНИЗМ

Каждый человек хочет быть счастливым. Каждый ищет счастья по-своему. Да только не дается оно людям в руки, как жар-птица, разве у иного смельчака перышко в руке останется: посветит-посветит, да и погаснет. Вот решили люди однажды: не дается счастье каждому поодиночке, значит, соберемся вместе и построим рай на земле, а конкретнее – коммунизм. Только и из этого, как уже доподлинно известно, ничего путного не вышло. Отец Витьки Воробьева боролся за всемирное счастье в других странах, поскольку был советским разведчиком. Своими глазами он видел, что люди на Западе, хоть и не строят никакого светлого царства-королевства, живут гораздо лучше, чем в самой богатой от природы России. Карл Маркс предвещал построение коммунизма во всём мире. Ленин и Сталин провозгласили возможность построения коммунизма в отдельно взятой стране, а витькин отец, творчески развивая их учение, пришёл к идее возможности построения коммунизма для отдельно взятой семьи и даже для отдельно взятой личности и открытие своё по большому секрету сообщил сыну.

Вот об этом-то и поведал мне Витька, когда мы стояли на крохотном балкончике малогабаритной квартиры, где он жил со своей второй женой Алюней и аквариумными рыбками. Было это в это в эпоху «развитого социализма». С высоты птичьего полета (седьмой этаж), были видны плоскости крыш ближайших послевоенной постройки домов, люди внизу казались муравьями, а легковые машины во дворе жуками. Здесь, на балконе, куда мы обычно уходили, оставив женщин, на кухне со своими дамскими разговорами, он поверял мне самое сокровенное. Балкончик был крохотный и лишь тонкие надежные перила отделяли нас от пропасти, высота не страшила, а лишь приобщиала к огромному небу и возникало какое-то легкое, птичье настроение, здесь обычно хотелось обсуждать нечто глобальное – политику, философию... и часто казалось почти реальным все то, что всего лишь в нескольких шагах, на отчужденной от пространства кухне выглядело бы сущим вздором, над чем мы могли бы там посмеяться и сами. Сдружились мы с ним еще в мединституте. Это был самый толстый студент на курсе. Зрелым доктором он стал таким солидным, что проходил в дверь своей московской квартирки боком. В тот теплый вечер он сидел на балкончике в майке, курил, как всегда дешевую и жесткую «приму» без фильтра, волосатый и огромный, как гризли (впрочем, его мощь не выглядела агрессивной – в ней преобладала округлость). И странным в нем на фоне этой мощи казались изящный, почти женский рот-бантик, задорный мальчишеский голос и живые темные глаза. Его быстрый ум, легкий нрав, горячий темперамент словно были подготовлены для человека д'артаньяновски худощавого склада, но по какой-то странной прихоти судьбы попали в столь массивную оболочку, которую он, однако же, научился носить с большим достоинством, а ротик бантик его уже был старательно запрятан в окладистую громадную бороду «а ля мужик». – Надо каждому строить свой коммунизм, – повторил Витька, выщелкнув окурок в красный от закатного солнца воздух, – так мой отец говорил. – И я своей Алюне коммунизм устрою! Отца своего уважал, невзирая на то, что они ссорились и годами не разговаривали. В самое трудное время студенчества, когда у Витьки появилась первая семья и родилась дочь, отец, не одобрявший женитьбу, не помог ему и копейкой. Гордый Витька вместо того, чтобы повинно просить пошел работать на скорую помощь фельдшером. Часто на занятиях после ночного дежурства под равномерный голос преподавателя его грузное тело внезапно обмякало, глаза закрывались и преподаватель вопрошал: «Воробьев! Что это с вами?». Встрепенувшись, Витька открывал глаза как раз в тот момент, когда начинал, грозно покачнувшись, заваливаться, удерживал равновесие, ухмылялся, а студенты, большинство из которых были свободны от забот и жили под крылышками родителей, поспешно, с долей уважения поясняли, что он после дежурства, и взгляд преподавателя обычно теплел. После института Витька работал день и ночь, однако еле сводил концы с концами. Потом разразилась катастрофа – развод

с первой женой, бывшей сокурсницей, который он сильно переживал. Но не прошло и года, как Витька женился снова на маленькой армяночке с твердокаменным характером, хирурге, в прошлом чемпионке Европы по стрельбе из пистолета. Витька всегда мечтал о том времени, когда семья его будет жить по человечески, не нуждаясь в самом необходимом, но шли годы, а оно так и не наступало, сколько бы он не пахал днями и ночами на скорой и в реанимации. – Представляешь, Палыч! – жаловался мне Витька, – югославские женские сапоги стоят 70 рублей – больше половины врачебной зарплаты! А есть на что? С другой стороны, не ходить же моей Алюне в валенках по Москве! Вот я и работаю на полторы ставки и она работает и всё равно еле-еле... Нет, надо что-то делать!

– Понимаешь, Палыч, – излагал мне Витька свою теорию на высотном балкончике, – государство повернулось к нам жопой. В какой это стране видано, чтобы водитель автобуса зарабатывал в пять раз больше врача? И вообще, посмотри вокруг: оно повернулось жопой ко всему народу – честно работать невозможно, машину может купить только вор... Призывают работать все больше и лучше, а как ни работай – один оклад в зубы... Государство нас грабит и обманывает, значит и мы должны отвечать тем же: неси все что плохо лежит, есть возможность – неси! Вот я вчера два куса мыла с работы притащил, а сегодня – полотенце... у меня дома все кружки с клеймом «минздрав», – в голосе его звучала гордость. – Идешь, например, мимо стройки, видишь – лежит кусок хорошего провода – бери, пригодится! Все вокруг народное – все вокруг мое! – он задорно прищелкнул пальцами и хлопнул ладонями. – ...Деньги, я тебе скажу, лежат прямо под ногами, стоит только нагнуться, стоит только немного пораскинуть мозгами. У меня уже есть несколько задумок, – загадочно понизил он голос. – Снова самогон гнать? – предположил я. – так ведь когда-нибудь нарвешься – соседи наступят... – Есть другие методы, – сказал он и многозначительно, замолчал, ожидая, что я буду его расспрашивать. Я молчал и, как и следовало ожидать, через несколько мгновений он не выдержал. – Вот самый простой... но, конечно, между нами. Берешь обыкновенный пятак и выпиливаешь из него крестик, а в церкви крестики – по три рубля... технически проще простого. Говорю я с тобой, например, а тем временем зажал пятак в верстак и вжик-вжик, напильничком... Дел минут на десять... А если пять таких крестиков в день – это же пятнадцать рублей... умножь на тридцать – будет четыреста пятьдесят – три докторских зарплаты! Ну, идем, я кое-что покажу... Мы прошли с балкона в комнату. Здесь блестящие золотом маковки Елоховского собора заглядывали прямо в окно. Из-за того, что Витьке казалось хлопотным выбираться на природу, он предпочел эту природу привнести в дом. На письменном столе поблескивал огромный пузатый аквариум. В зеленоватом сумраке аквариума фосфорическими искрами сверкали легкие неоны, неспешно двигались полупрозрачные самки гуппи с жемчужно-серебристыми животиками, вились по стенкам вокруг них маленькие самцы с ярко пестрыми шлейфами хвостов, блуждали меж водорослей красные и черные меченосцы, парили лупоглазые крошечные золотые рыбки, шевеля розовой вуалью плавников... Он открыл ящик письменного стола, запустил в него свою волосатую лапу и что-то протянул мне. – Вот, первый экземпляр продукции... Это был желтый отполированный крестик, в котором кроме цвета ничего не напоминало о первоначальном корыстном назначении металла. – Ну как?... – Вполне приличное качество, – пожал я плечами. – Теща в Елоховский собор ходит, будет распространять... ** Бывает нередко в жизни: идея вроде бы неплохая, а дело не идет, так и с Витькиным начинанием случилось. А может быть, ему кто-то вовремя шепнул, что порча монет уголовно наказуемое деяние. Однако взгляда от церкви он не отвратил, благо Храм Божий находился рядом. Светла Витьку его теща со старостой храма, мужиком таким же толстым и бородатым как Витька и, по его словам, быстроглазым (Алюня удивлялась их поразительному сходству). А надо сказать, Витька закончил школу с радиотехническим уклоном. И предложили ему отремонтировать радиоточку в храме. И взялся он ее обслуживать. И три месяца ходил исправно сын советского разведчика, тайно занимаясь делом несовместимым с «высоким званием совет-

ского врача»: посмотрит быстренько больных, запишет истории болезни и часов в двенадцать уже халат снимает, в шкафчик вешает, а мне шепчет (мы в то время вместе работали): «В храм Божий, в храм Божий пора!»... На столе у него дома появился катехизис, его увлекли христианские догматы. Уверовал он с необычайной быстротой и готовностью. «Воцерковляться, воцерковляться, Палыч, надо!»... Рассказывал о том необычном впечатлении, которое производила на него таинственная тишина и сумрак сводов храма, когда не было посетителей и, поднявшись на стремянке под своды, ближе к святым, он чинил проводку. А однажды многозначительно сообщил: «Владыке уже обещали представить!» Встрече этой придавал он важное значение: надеялся, возьмут в церковь на постоянную работу, хотя вслух об этом не высказывался. Наконец встреча состоялась: «Глянул на меня Владыко, как насквозь, ничего не сказал и пошел!» – рассказывал Витька. – Ну а дальше что? – спрашиваю. – А дальше не знаю, посмотрим, – многозначительно сказал Витька, – такой человек видно Владыко, с одного взгляда рассекает, ему и разговаривать не обязательно... Немного времени спустя, придя на работу, я обнаружил Витьку в разгневанных чувствах. – Обманули меня святые отцы, представляешь, обманули! – говорил он, гневно сверкая глазами. – В чем дело? – Представляешь, прихожу я вчера в радиорубку, а там какой-то мужик возится. Вы кто? – говорю, – А я, говорит, инженер, здесь работаю, был четыре месяца в командировке в Ленинграде... Я ни слова не сказал – развернулся и ушел!... Очень обиделся мой друг, что святые отцы не оценили его бескорыстия. А может быть, и напрасно, может быть, это было последним испытанием?... ** Но не таков Витька, чтобы долго унывать и находиться в бездействии. Возмущали его воображение все новые идеи. Отсюда начинается новая история, история с протарголом, обыкновенными детскими капельками от насморка. Кажется – ну что в них особенного? – но и тут проявился необыкновенный полет витькиной мысли. – Слушай, Палыч, – спрашивает он меня однажды, – а не можешь ли ты достать протаргол? – и по таинственному, пониженному тону я понимаю – мой друг уже замыслил нечто чрезвычайно важное, но пока не пойму что. – А чего его доставать – в любой аптеке есть... – Мне много надо... – еще более понизив голос говорит Витька. – Сколько флаконов? Витька некоторое время молчит, как бы раздумывая, стоит ли меня посвящать в тайну. – Ведро, – наконец говорит он. – Да зачем тебе столько?! – не выдерживаю. Витька смотрит на меня как бы издали, с сожалением и объясняет как Миклухо-Маклай папуасу. – Это же окись серебра, Палыч, несколько простых химических реакций и можно получить чистое серебро! Только надо достать много протаргола, очень много! Где-то в нашем бестолковом государстве наверняка его можно достать много и бесплатно, спереть с завода, например... попросить рабочих – за бутылку вынесут... – Ну а что ты с этим серебром будешь делать? – Можно из него шестиконечные звезды Давида отливать и продавать евреям, знаешь, сколько за такое отвялят?... Я не знал сколько и так ли уж необходимы евреям серебряные звёзды, но это ничего не меняло. Сказано – сделано: Витька начал налаживать у себя на кухне небольшое литейное производство. – Нужно количество материала наберем потом, главное пока освоить технологию, – объяснял он мне, хитро подмигивая, показывая пару кирпичей и половник, – Теща ругается, правда – со смехом говорил он, будто сам дивясь собственной сумасшедшинке, – приходится после производственного цикла на балкон выносить. В то время я ему на день рождения даже книжку подарил по литейному производству со схемами доменных печей, пожелав в скором будущем освоить домашнее самолетостроение. Он даже свой аквариум на время оставил, перестал отлавливать мальков, отделять несовместимые породы, представив все естественному отбору. В результате, рыбок в аквариуме становилось все меньше, а три золотые рыбки все росли и росли... «Представляешь, жрут всех!» – восторгался он их акульими задатками. Первыми исчезли неоны, потом меченосцы и гуппи и в огромном аквариуме шныряли только значительно подросшие золотые рыбки, одна из которых по размерам явно обгоняла двух других. Недели через две, когда я снова попал к нему в гости, Витька с гордостью демонстрировал мне комочек серого невзрачного вещества, похожего на табачный пепел, на дне столовой ложки.

«Это первый этап! Еще две реакции с этой штукой и у меня будет чистое серебро!» Однако на его пути непреодолимой преградой встал женский консерватизм. После двух прожженных половников жена и теща наотрез отказались верить, что счастье на пороге и наложили вето на кухонные эксперименты. И вот тогда Витька решился на крайнюю меру: бросить медицину и стать автослесарем. «Сколько же можно так жить? Ты знаешь, что женские сапоги половину моей зарплаты стоят? Я должен сделать своей Алюне коммунизм!» Друг детства (тоже сын кэгэбэшника, приятеля его отца) уже давно работал таксистом, при встречах потешался его мизерной врачебной зарплате, звал к себе в таксопарк. Решение принималось нелегко, хотя Витька сообщил о нем как обычно, с шуточками, прибаутками, будто обсуждал постороннего чудака. Мы сидели в комнате, и я смотрел на аквариум, где плавала лишь одна золотая рыбка, разросшаяся до размеров наводящих на мысль о своевременности ее путешествия на сковородку – венец аквариумного дарвинизма. – Представляешь, – подхватив мой взгляд, восторженно сообщил Витька, – она кусается! Опустим-ка палец... Я опустил указательный палец в воду. Пучеглазая рыбка, мотнув розовым шлейфом хвоста, метнулась вперед, и я почувствовал, как кожу легко ущипнули острые краешки рыбьего рта. – А знаешь, как страшно! – вдруг сказал Витька, проникновенно глядя мне в глаза. – Зря ты это делаешь, не стоит, – ответил я и тут он взорвался в первый и последний раз за время нашего общения, завопил, будто сам себя испугался. – Да иди ты... Сам разберусь, сам! – Ну, как знаешь, – сказал я. Я с трудом представлял себе самолюбивого Витьку в роли ученика автослесаря (ступень, которую он должен был непременно пройти перед тем, как стать автослесарем). Я с трудом представлял себе, каким образом с его необъятными габаритами он будет залезать в смотровую яму под автомобиль, просто наклоняться, зато мог представить какой беспощадный хохот будет все это вызывать у мужиков таксопарка. Недели через две после того как он устроился на новую работу, нам позвонила его жена и со смехом (ее саму забавляли эти шараханья) сообщила, что Витка заработал свою первую левую трешку. Потом трубку взял Витька. Судя по голосу, в котором звенели плохо скрываемые ликующие нотки, он считал это началом золотого дождя. Однако после этого звонка Витька вдруг как-то затих, перестал мне звонить, да и я долгое время не звонил ему, перешел на новую работу, кажется куда-то ездил... Однажды матушка моя сказала. – Слушай, наверное я сегодня твоего Витьку в метро видела. Едет на эскалаторе такой огромный, грязный, бородатый и все на него оглядываются. – А где это было? – поинтересовался я. – Метро Проспект Мира. Ну конечно это был Витька: в этом районе находился его таксопарк и он, видимо, возвращался со смены. Прошло около трех месяцев и я ему позвонил. – Ну, ты уж там, наверное, процветаешь? – Уволился, – после некоторого молчания сказал Витька. – Меня в больницу обратно берут... – Что так? – Знаешь, Палыч, я понял – каждый должен быть на своем месте. Даже на Витьку, любившего щегольнуть показным цинизмом и затейливым матом, общество, которое он нашел в таксопарке произвело неизгладимое впечатление. О тамошних нравах, по умолчанию уголовных, вспоминал с горькой усмешкой. Рассказывал, как похвалялась шоферня друг перед другом под одобрительный гогот своими «подвигами» – кто как ловко обманул приезжего, накатывая лишние километры, обокрал пьяного клиента, «снял» проститутку – и чем гаже и отвратительнее были поступки, тем более почетными считались. «Особенно молодые любят это дело, старые волки молчат. Но чувствуется на их совести такое!...» И все-таки одного друга Витька там нашел. Я видел его – это был немногословный парень с серым, отмеченными преждевременными морщинами, внимательным лицом. – Вовка – единственный человек там, не такой как все. Вовка – человек! Ты знаешь, он один, который чем-то интересуется, задает вопросы... Многого не знает. А в той среде у него ему просто не у кого спросить... Я домой его пригласил, чтобы совсем другие отношения увидел, что люди могут еще как-то по-другому жить, нормально разговаривать... Правда скромный ужасно, интеллигенции еще стесняется... Володя – простой честный рабочий человек – единственное ценное наследство, оставшееся у Витьки от таксопарка, где лучшее надо хранить

как можно глубже в себе. Это была последняя известная мне попытка Витьки построить себе коммунизм, самая решительная. Не получилось у мужика, хоть и идей было премного. Я-то знаю почему: все-таки слишком честный оказался – всю жизнь мечтал продать душу, да так и не сумел. А в общем, мы с ним давно не виделись.

Стукач

Витька, Витька, где твоя улыбка? Не видно развеселого толстеного Витьки, не слышно его мальчишески задорного, странного для столь грузного тела голоса. Канул в море житейской суеты луноликий друг. А ведь было... Были длинные задушевные беседы за бутылкой коньяка или банкой отличнейшего качества самогонной Витькиного подпольного производства водки, настоящей на апельсиновых корках. И нередко вечера не хватало, чтобы наговориться, и засиживались до двух ночи, когда глаза начинали сами собой слипаться, а язык вязнуть. Когда это было, где?... – Кажется не меньше ста лет назад, а прошли годы... кажется в другой стране... а ведь и вправду в другой!... Было это в стране чудес, только чудеса в ней были какого-то угрюмого, трагикомического свойства. Существовала в этой стране своя абсурдная античеловеческая режиссура, с утратой которой, однако, все стало погружаться в не менее античеловеческий первобытный хаос. Семнадцать лет назад сидели мы вместе: я, Витька, его первая жена Мышка (так я звал ее про себя, потому что она и в самом деле была маленькая, с темными бусинками глаз, а на фоне огромного круглого Витьки казалась вообще крошечной), готовились к госэкзаменам, без пяти минут врачи, – зубрили «Научный коммунизм». Помню даже вопрос из билетов, на котором мы остановились: «Критика теории конвергенции». Таких вопросов по критике различных «буржуазных» теорий было много. Самих теорий мы прочесть не могли, поскольку они относились к запрещенной литературе, за хранение которой можно было и срок схлопотать, разве две-три маловразумительные фразы из учебника. Уникальность была в том, что требовалось исхитриться и критиковать то, что ты сам не знаешь. Более или менее внятно о них рассказывали лишь иногда некоторые преподаватели из числа наиболее одиозных (кстати, было явно заметно, что изложение этих теорий им явно доставляло гораздо большее удовольствие, чем их критика). Но и это было все в пересказе, переложении, а как хотелось вкусить запретный плод самому!... А тут нам случайно попался полузапрещенный журнал «Америка» со статьей, в которой как раз и излагались основы этой теории (по ней выходило, что со временем социализм приобретает черты капитализма, а социализм неизбежно будет вынужден отступить от своих жестких принципов, что может привести к их слиянию). И настолько ясной и понятной была статья, настолько мутным, суконным и бранным был язык соответствующего раздела учебника, что становилось до боли очевидным как нас нагло обманывают, и Витька то и дело вскакивал, бешено матерился и запускал учебник в стену. Учебник падал за диван, Мышка доставала его оттуда и мы продолжали зубрить. Сквозь злобную ахиною «учебного» пособия с упорством паранойального бреда доносилось обещание «светлого коммунистического будущего», в которое мы уже давно не верили, но вот этого на экзаменах ни в коем случае показывать было нельзя, иначе не видать тебе врачебного диплома вовеки. Верили зато мы, что социализм, в котом жили – это очень надолго (если только ядерная война не бабахнет и не уничтожит вообще всю землю), уж никак не меньше чем на два-три поколения после нас; настолько мощной и несокрушимой казалась эта система, что всерьез предположить случившееся с нашей страной мог тогда лишь клинический идиот. – Но ведь задумка то хорошая! – всплеснув тоненькими ручками, время от времени повторяла Мышка. – Задумка-то хорошая, да во что ее превратили! – в голос ей восклицал Витька. Я вяло соглашался, хотя уже сильно сомневался и в самой «задумке»: однажды меня поразила мысль, что за правдивое слово у нас могут карать более жестоко, чем за убийство человека и с тех пор я ее неотступно внутренне созерцал. Это сделанное еще до выпускных экзаменов простое открытие заслонило все умствования, все доводы и контрдоводы. Меня, правда, как видно, не убили, не посадили и даже не выгнали из института. Следуя советам отца, не понаслышке знавшем об опасности разговоров о политике, о «черных воронках» и лагерях, я старался таких разговоров избегать, (хотя становилось это почему-то все труднее и труднее) и даже с Витькой и Мышкой предпочи-

тал не раскрываться до конца. И все-таки, несмотря на меры предосторожности, был момент, когда показалось: дохнуло холодком с Колымы, я приблизился к краю, правда, не заглянув за него, но в памяти осталась издевательская усмешка судьбы, чувство абсурдности режиссуры. И будто из серого тумана прошлого, выплывает фигура студента Дурова. Вот он идет своей мягкой крадущейся поступью, рослый, атлетически сложенный, в рубашке хаки с нагрудными карманами, слегка наклоняя вперед туловище и свесив тяжелые длинные руки. Не насторожила меня тогда ни эта походочка гориллы, ни близко посаженные темные глаза, всегда каким-то образом глядящие исподлобья, даже на тех, кто ростом ниже, ни странно маленький подбородок, особенно в сравнении с лошадиным выступом носа... Все это отметились гораздо позже, а поначалу я увидел здорового простого парня с добродушным малорусским юмором (он был из Харькова). Впрочем, мой новый друг вовсе не давал мне повода плохо о нем думать, а прогуливать на пару скучные лекции было веселей. И общаться с ним было необыкновенно легко. Казалось, вот она простота и сила народная, о которой как несомненных признаках хорошего человека, нам уши прожужжала учительница литературы в школе. Суждения его были и в самом деле просты, никакой интеллигентской зауми, а в некотором их прямолинейном цинизме виделся лишь признак мужественности. Улыбка (со временем все более превращавшаяся в ухмылку) обнажала крепкие полировано гладкие желтые зубы. Единственное, что мне в нем сразу не понравилось, – длинные волосы в сочетании с безбородым и безусым лицом придававшие облику нечто бабье (впрочем, женщинам он нравился). Теперь подозреваю, почему мне было легко: его склонность все упрощать каким-то образом упрощала и мне жизнь, отводила многие сомнения в себе и окружающем. И тут возникает толстый учебник органической химии, который я потерял, забыл в аудитории. Студенты, терявшие учебники, обычно вывешивали в раздевалке объявления с просьбой вернуть их, указывая свои имя, фамилию и курс. Также решил сделать и я. Но тут мне вдруг захотелось отличиться, сочинить такое объявление, чтобы мимо него не смог пройти ни один студент, чтобы и книгу вернули и весь институт хохотал. Мы сидели с Дуровым на какой-то лекции, на галерке: я изобретал объявление, а Дуров точными штрихами, не спеша, изображал сцену изнасилования. Не в пример другим, неумело нацарапанным на столах кабинетов и на стенах туалетов произведениям мучающихся эротическими галлюцинациями студентов, получалась картинка еще более мерзкая именно вследствие своего довольно талантливо исполненного, однако, я уже научился тогда автоматически подавлять в себе возникающее отвращение, отбрасывать от себя неприятное, не входящее в образ человека мною уже созданный, как нечто случайное, для него не характерное. Итак, я сочинял объявление. Для начала на всем листе бумаги с помощью красного шарика расположил след окровавленной пятерни и потом крупными буквами написал обычный текст с просьбой вернуть учебник и своими данными. Некоторое время я с удовольствием созерцал законченную работу и тут Дуров вдруг сказал: «А снизу подпиши: за это обещаю отменить крепостное право!». Идея мне показалась смешной и, недолго думая, я подмахнул фразу ниже текста. Уже когда крепил объявление на стене раздевалки, кольнуло нехорошее предчувствие. Смутно понимал, что шутка более глупая, чем смешная и, к облегчению, на следующий день объявление из раздевалки исчезло. Постепенно вокруг нас с Дуровым в группе стал ощущаться некий вакуум: кроме меня у Дурова друзей не образовалось, а вот я с ребятами был в хороших отношениях, и тут вдруг почувствовал какое-то непонятное ко мне охлаждение. Наконец одна из девчонок, Наталья Шарапова, мне как-то сказала напрямую: «А ты разве не знаешь, что Дуров стукач?» – Я только рассмеялся в ответ, настолько невероятным это показалось – мой друг и стукач!... Однако сказанное запало: оказалось уже шло подсознательное накопление каких-то фактов, фактиков, оговорок... И тут я решил пойти напрямую, взять Дурова, как говорят, на пушку, хотя на 90 процентов верил, что ошибусь, надеялся... Шла первая половина лекции по физиологии. Как обычно мы с Дуровым сидели на задних рядах, поближе к выходу. Без лишних слов я заявил в лоб, что мне мол достоверно известно чем он занимается. Все-

таки жизнь любопытна именно своей непредсказуемостью. Я ожидал любой реакции: удивление, смех, гневное отрицание и даже откровенное признание, подкрепленное теорией собственной исключительности... Все случилось по другому. Дуров медленно вытащил кармана кожаный бумажник, раскрыл его, вытащил зеленую трешку и, протягивая, тихо и внятно молвил: «За сведения!» До сих пор помню эту сцену – лопатообразную лапу с зеленой трешкой (три обеда в институтской столовой), в которую Дуров оценил мою дружбу. Все происходящее вдруг показалось в этот миг дурацким сном и от четкого осознания, что тем не менее это реальность, во рту пересохло. Я даже ничего не ответил, лишь, кажется, не мог сдержаться от презрительной улыбочки. Зеленая бумажка, поколебавшись в пространстве, исчезла там, откуда появилась. – А у меня на тебя есть данные... – уже с явной угрозой сказал Дуров, вновь касаясь бумажника, и я увидел, что из кожаного кармашка выступает белый край сложенного листа клетчатой бумаги и тут сразу же все связалось: совет Дурова приписать фразу в объявлении, его быстрое исчезновение из раздевалки и, самое главное – содержание: «...Обещаю отменить крепостное право...»! Какой же я дурак, ведь при желании этим словам можно придать политическую окраску: здесь же явный намек на одно из главных «достижений» социализма – колхозный строй! И поди объясни там, что ты этого вовсе не имел в виду, что ты вообще ничего не имел в виду! А ведь и вправду не считалось бы это такой уж крамолой, если бы не было столько сходства и правды! От отца я слышал, что за подобные шутки, за политические анекдоты, случайные оговорки при Сталине людей отправляли в лагеря и на расстрел... «И сейчас ничего не изменилось...» – не уставал повторять он, видимо желая как можно надежнее застраховать меня от подобных случайностей. И вот, ирония судьбы: это случилось, будто подтверждая правильность мнения, что случается именно то, чего больше всего боишься. Конечно, это была та самая бумажка! У меня даже дух перехватило. Смотреть на Дурова я больше не мог и, ни слова не говоря, достал тетрадь и стал записывать лекцию, сначала не вполне понимая, о чем говорит лектор, но постепенно постигая смысл, почувствовал странное облегчение. И хотя я чувствовал, что сейчас все-таки иные времена, и за подобное в тюрьму не отправят, но казалось вполне вероятным быть вытолкнутым из института с пожизненным волчьим билетом, и это было бы не менее страшной катастрофой, чем тюрьма, о том, как это подействует на родителей думать было вообще выше моих сил. Я видел уже папку с заведенным на меня делом в небезызвестной комнате номер восемь – институтском «спецотделе». О комнате номер восемь предпочитали не распространяться. И сама она располагалась как-то незаметно и, в то же время, в самом центре здания: на втором этаже под аудиторией. Точнее, там было несколько комнат за одной дверью: военно-учетный стол и еще что-то непонятное; курировал весь этот отдел высокий лысоватый генерал КГБ в отставке, голоса которого я ни разу не слышал, хотя время от времени его задумчивый лик встречался на институтской лестнице. Когда его безразличные, ничего не выражающие глаза проходили по мне, у меня появлялось ощущение, что он знает меня и по каким-то вторичным признакам выделяет как неблагонадежного, инакомыслящего. Однажды я случайно увидел, как из этой комнаты выбежал один из наших главных комсомольских боссов, молодой «перспективный» ученый, преподаватель. Пожалуй, я еще не видел столь откровенного ужаса на человеческом лице: оно было мокрым от пота, будто голову окунали в воду. Поразительно был видеть такое выражение у всегда благополучного на людях, уверенного в себе человека. Не видя в первый миг вокруг себя никого и ничего, комсомольский работник, стоя на лестничной клетке, судорожно утирал пот со лба и автоматически, как заводной, загребал и загребал рукой назад свою курчавую шевелюру. Будто кто-то рассудочный вкрадчиво нашептывал мне, что с Дуровым надо быть осторожнее, возможно даже не рвать резко (мало ли что может наговорить на меня, озлившись), а отходить постепенно, сделав вид, что ничего не произошло. Но я не мог преодолеть эмоций, разом вытолкнув его из себя, как рвотную массу. Сразу же после перерыва, на второй половине лекции я пересел от Дурова на передние ряды и принялся вновь, как когда-то, внимательно записывать лекцию. С того момента

общение наше оборвалось резко и навсегда: встречаясь на занятиях, мы лишь здоровались друг с другом, но больше – ни слова. К тому же виделись мы все реже и реже: Дуров безбожно прогуливал занятия и лекции. Я же на лекциях теперь сидел не позади, где все же изредка появлялся Дуров, а в первых рядах, где он не показывался никогда, и старался ловить каждое слово преподавателя. Это не осталось незамеченным и буквально через несколько дней на лестничной клетке меня окружили ребята и девчонки из нашей группы и принялись поздравлять, пожимать руку. А один из ребят, боксер Вова Веревкин сказал: «Ты, Палыч, совершил мужественный поступок!». Мне было приятно вернуть себе нормальное расположение группы, хотя ничего необыкновенного в своем поступке я не видел. Правда, было немного обидно, что я, как оказалось, узнал кто такой Дуров последним. – А вы как догадались? – спрашивал я. – Вычислили! – радостно со смехом кричал толстый Витька. – Вычислили! В каждой группе есть стукач! Впрочем Дуров больше меня не трогал, не пытался шантажировать. Злобности в нем не было, для нее он был слишком ленив, и лень эту легко можно было спутать с добродушием. Вообще ему нравилось изображать из себя какого-то разведчика, агента 007. Держался он по отношению к другим высокомерно, напускал на себя таинственный вид, стал ходить на занятия в темных очках... Группа платила откровенным презрением и насмешками. – А-а, вот и Ду-у-уров! – с преувеличенным почтением, переходящим в многозначительную издевку тянул всякий раз, церемонно здороваясь с ним за руку, Витька. Витька не боялся издеваться над стукачом – его отец был крупной шишкой в системе госбезопасности. А однажды наши девчонки перед занятием бесстрашно Дурова атаковали, разом надели, тюкать принялись наперебой: – Да уж мы знаем, что ты представляешь из себя, знаем-знаем!... А Наталья Шарапова прямо заявила: – Да кто ты такой?! Ты вообще НИКТО! Тут Дуров озлился, бабье лицо его скривилось, приобрело щучье выражение, и сказал с угрозой в голосе: – У вас могут быть неприятности, я вам не советую продолжать! – и поджал губы... Девчонки сразу замолкли, лишь Наталья Шарапова презрительно усмехнулась. С тех пор Дурова в группе вообще как бы перестали замечать. Лишь Витька по-прежнему всякий раз церемонно-издевательски с ним здоровался: «А вот и Ду-у-уров!»... – На «здрасьте» и «привет» его общение с однокашниками теперь начиналось и заканчивалось. Вроде и был человек в группе, и одновременно не было его. Учился он едва ли не хуже всех, все чаще прогуливал лекции и занятия, и к концу учебного года вышел на отчисление из института. Спас его родной дядя, профессор, который, как оказалось, работал в институтской администрации: Дуров ушел в академический отпуск. Наша группа от него, слава Богу, избавилась. Видели его пару раз случайно, года через полтора-два, потом он исчез совершенно, вполне может статься, так и не осилив институтского курса. Думаю, что сексотом его сделали не злость и уж во всяком случае, не политические убеждения, а именно лень в сочетании с какой-то врожденной аномалией. А его теория собственной исключительности, его «Мне все позволено!» была крайней точкой конформизма, готовности принять любую форму, лишь бы не совершать усилий – умственных, физических, душевных... Лень эту усугубляло полное отсутствие интересов, увлечений, за исключением интересов к шикарной жизни (знание которой было главным образом почерпнуто из иностранных фильмов) к девочкам и шмоткам – интересов павиана и павлина. А тут можно было не напрягаясь получать ежемесячное пособие, превышающее, как говорили, размер стипендии, которую прочие зарабатывали лишь упорными занятиями, не имея троек на экзаменах. Но видно Дуров был настолько ленив, что ему не помогла ни охранная грамота стукачества, ни дядюшка профессор. О врожденной аномалии я упомянул не случайно. Встречаются в жизни иногда, даже в совершенно различных национальностях, необыкновенно похожие друг на друга люди, своеобразные архетипы человеческие, сходные внешне, физически, даже своими повадками – манерой двигаться, говорить... В жизни я потом дважды встречал людей внешне необыкновенно похожих на Дурова – в обоих случаях это были люди непорядочные, темные. Первый близнец стукача делал успешную карьеру на московском радио, выливая за рубеж потоки лжи о счастливой жизни в Совет-

ском Союзе. Сходство его с Дуровым было потрясающим, до деталей: та же мягкая поступь, крупное тулово, близко посаженные карие глаза, лошадиный нос и маленький подбородок, даже стрижка горшочком с волосами прикрывающими невысокий лоб, отчего он казался еще более узким. Поначалу я подумал было, что это и есть Дуров, сменивший фамилию, переквалифицировавшийся, сделавший другую немедицинскую карьеру. Второй был тоже очень на него похож лицом, но телом помельче и пожестче. В компании, где я его встретил, он с увлечением рассказывал о том, как действуют разрывные пули в человеческом организме (позже он сел в тюрьму за злостное хулиганство). Впрочем, мне бы не хотелось думать, что человеческие свойства полностью определяются внешностью, – жизнь сложнее! – и думаю, наверняка где-то существует вполне человеческий порядочный вариант Дурова. А экзамен по «научному коммунизму», лжепредмету, порождением которого был Дуров, мы с Витькой и Мышкой сдали на хорошо и отлично. И каждые полгода в институте мы сдавали экзамены по политическим предметам успешно. И самый главный экзамен по научному коммунизму по окончании института сдали. Проклинали, что приходится врать, но сдали, и думали: «Ну это уж в последний раз!»... Однако мы опять-таки ошибались.

1995г.

Много ли нам надо воздуха?

1

Маленький морщинистый, как сухофрукт, старичок Богомолов жил в кладовке. Там он любил просиживать днями в шезлонге, шелестя газетами. А выписывал он все важные государственные газеты: и «Известию», и «Правду», и «Труд», и «Комсомольскую правду», и, конечно, местную «Огни Новотрубинска». Газеты не выбрасывал, а с незапамятных времен складывал здесь, и они уже заполнили больше половины кладовки. Возвращаясь к ним, перечитывал, сравнивал, что-то отмечая, подчеркивая, и шуршал, шуршал, шуршал... Дверь в кладовку была всегда приоткрыта и домашние привыкли видеть как оттуда валит сигаретный дым, будто в кладовке начался пожар.

– Дедуля! – говорила со смехом время от времени, заглядывая туда, белая и свежая внучка-десятиклассница, – Да чем же ты здесь дышишь!?

– Э-э, – хихикал Богомолов, – да много ли нам старикам воздуху надо?

– Вышел бы, погулял, так на улице хорошо! – Что-то сегодня неохота, устал...

– Да ты оттого и устал, что на воздухе не бываешь, ну хоть бы на балкон вышел... Такое солнышко! Еще куришь...

Богомолов улыбался, но почти никогда не следовал совету внучки. Внучка была единственным человеком, которому он улыбался. Ему была приятна ее ничего не стоящая забота, хотя и в полную искренность такой заботы Богомолов не верил. Жизнь приучила его не верить никому и ничему. «Ишь ты, хитренькая, – думал он, – подлиза!», но все равно не мог побороть в себе приятного расслабляющего как мимолетный дурман чувства. Другие домашние побаивались старика. С женой, Дарьей Петровной, он уже давно не разговаривал. Она лишь приглашала его к столу и время от времени оповещала о необходимости смены белья и банных мероприятиях. Подобострастные улыбочки и ужимочки невестки Любы не могли его обмануть. Сквозь их ватную оболочку он чувствовал ядовитое острое выжидающей ненависти. Сын? – Сына почти не видел. Егор целыми днями пропадал в гараже с собутыльниками. Вот уже несколько лет Богомолов вовсе перестал покидать квартиру. Случилось это не сразу, после того как он вышел с почетом на пенсию в должности замчалника отдела кадров одного секретного предприятия нашего города (такого секретного, что все Новотрубинцы говорили о нем только шепотом или, по крайней мере, вполголоса). Собственно написать заявление «по состоянию здоровья» его вынудили. Сам он лучше чем кто-либо понимал, что почетные проводы, на которых многие сослуживцы даже не пытались скрыть своей радости, лишь ширма для отвода глаз. А в действительности он пал жертвой чудовищных интриг директора предприятия, этого фигляра, сопляка, который всегда ставил свои интересы выше государственных, который метил устроить на его место свою любовницу! Но он ушел молча, ибо знал, что в жизни самое бесполезное занятие – бороться за справедливость. После увольнения (а он называл случившееся только так) прямая необходимость выходить на улицу отпала.

И все же иногда он гулял в сквере, находящемся недалеко от дома. Здесь, на лавочке, в аллее, что ведет к бюсту Карла Маркса, он посиживал в хорошую солнечную погоду, читая газету, или просто, отложив прессу, смотрел на белую с синей луковицей церковь напротив, удивляясь бесполезности ее красоты. Однажды, сидя вот так на лавочке, он увидел идущего через сквер такого же как и он пожилого человека с палочкой, и этот человек показался ему знакомым. Человек остановился напротив лавочки, как бы переводя дух, и пристально посмотрел на Богомолова, однако, не поздоровавшись, застучал палочкой дальше. Это не понравилось Богомолову. С тех пор он стал время от времени ловить себя на ощущении, будто из-за кустов кто-то за ним следит, и иногда этот кто-то был настолько близко, что Богомолов чувствовал сзади его дыхание. Не раз он пытался засечь неизвестного соглядатая: резко, насколько

позволял шейный остеохондроз, оборачивался (чем однажды ввел в большое недоумение шедшую позади толстуху), тыкал палкой в кусты – но все совершенно бесполезно! Соглядатаю всегда удавалось вовремя скрыться, очевидно, он был гораздо моложе и проворнее, однако не исчезал совсем, а продолжал наблюдение откуда-то издали. А однажды, когда Богомоллов уже совсем близко подошел к своей излюбленной лавочке, дорогу ему перебежала кошка. Не черная, правда, – в тигриную полоску, но четырехнувшись, старик остановился и предпочел вернуться, намереваясь достигнуть другой лавочки. Но не успел сделать и двух шагов в обратном направлении, как кошка, но уже другая, какая-то в дым серая, метнулась ему наперерез. Богомоллов растерялся и встал, словно наткнувшись на стену. Постаравшись взять себя в руки он принялся размышлять что же следует далее совершить... Оглянулся туда и сюда, надеясь, что случайный прохожий пересечет кошачьи маршруты, но дорожка была пустынна, только сусальный Карл Маркс, труды которого он исправно и аккуратно конспектировал всю жизнь, безмолвно взирал на него выпученными глазами из глубины аллеи с тем выражением, с которым орнитолог созерцает проколотую бабочку. Кстати, бабочки здесь тоже порхали с цветка на цветок, свободно и бездумно. Может позвать кого, крикнуть, что плохо с сердцем?... Но кто его здесь услышит? Помощь пришла неожиданно в виде розово-синего с белой полосой мяча. Откуда ни возьмись он косо вылетел из зеленого кустарника, стукнулся о дорожку и, раза два, подпрыгнув, покатился, закувыркался синим и красным, все медленнее, медленнее и остановился у самых ног Богомоллова. Ветви раздвинулись, и возник малыш лет девяти, разгоряченный игрой краснощекий толстячок с белобрысым ежиком и выпуклыми глазенками. Открыв рот, он уставился на Богомоллова, ожидая от него естественных ответных действий, как то: сердитое замечание или же, подталкивание палочкой мяча в его сторону... Однако Богомоллов оставался безмолвен и неподвижен. Чем-то озадачила малыша эта неподвижная похожая на старого аиста или, скорее, коршуна, фигура старика. А что если дед вздумал присвоить его мяч?! – Но нет, он никому не собирается оставлять свой мяч затак! И с яростным сопеньем малыш бесстрашно кинулся вперед, пресек кошачий маршрут, наклонился за мячом, и когда он наклонился, его белобрысый затылок был так близок, что Богомоллов мог бы без труда прикоснуться к нему кончиком палки. Крепко схватив мяч, малыш кинулся прочь, вторично пересекши маршрут, и только теперь Богомоллов, не спеша, двинулся домой: сидеть на лавочке ему уже расхотелось. Было совершенно очевидно: на улице он менее защищен, чем дома. Сидя в кладовке, он созерцал розовые цветочки на желтых обоях, испытывая приятное ощущение наконец-то достигнутой безопасности и надежности. Иногда, правда, стенка кладовки колебалась и растворялась, и перед ним оказывалось все то же Хитрое Болото, чавкающие в грязи сапоги, гул сосен, ямы, быстро заполняющиеся водой... В спецмероприятиях он принимал участие всего несколько раз. «Далать куклы» – так между собой их называли сослуживцы. В отличие от некоторых стрелков стрельба по людям не доставляла ему удовольствия, и он предпочитал как можно скорее заканчивать с этой процедурой. Его учили: «Кто не за нас, тот против нас!», уничтожение врага – почетная обязанность. Он рано понял, что жизнь – волчья борьба и ничего более, а все остальное – выдумки для дураков и легковерных, но надо, надо выкрикивать эти лозунги, клятвы, надо делать вид что ты веришь, тужиться верить – таковы правила игры, и он кричал выкрикивал эти лозунги на партсобраниях и политзанятиях, рвал на груди гимнастерку и чем громче кричал, тем больше разрастался в нем животный ужас, которому надлежало поклоняться. Угрызений совести он не испытывал, пусть их выдумывают всякие писателишки и интеллигентики. Он исполнял дело, которое от него требовало общество, все общество, так что если уж говорить о вине, то рыльце в пушку у всех! Шумели сосны над Хитрым Болотом, валялись на земле куклы в драных лохмотьях... Почему-то после акции сосны шумели особенно громко и явственно. После исполненного государственного дела стрелки могли немного расслабиться: пили спирт. Они почти никогда не смотрели туда, где лежали они – враги, ставшие в момент куклами. Хотелось поскорее вернуться домой, в тепло и нава-

литься на бабу: почему-то после исполненного революционного дела особенно сильно томила похоть. ...Сквозь ледяной туман болота начинали проступать розовые цветочки обоев и он думал о том, что сейчас молодым живется куда легче, все ж значит не зря... не зря... Спасибо государству! Легко живется молодым, слишком легко. Вот у Егора – и машина, и квартира... А результат?... Глушит водку с утра до ночи с друзьями в гараже... внучка тоже непутевая, вечерами в дом не загонишь. А тогда все его имущество умещалось в солдатской тумбочке, которая стояла в изголовье кровати казармы (даже после того как получил погоны офицера). А эти бесконечные северные зимы, морозы тяжелая сибирская река, серая тайга и серые вереницы заключенных и конвой, конвой в любую погоду... Спасибо государству отблагодарило: трехкомнатной квартирой в центральном районе страны, где нормальный климат, и кое-что на книжке осталось: шесть тысяч, сумма по нынешним временам невиданная – хоть машину сразу покупай! Мысль о сберкнижке наполняла его тихим блаженством, но в следующий миг он чувствовал тревогу: «На месте ли?»... Потихоньку, чтобы никто не заметил, он частенько ее перепрятывал, когда оставался в доме один. Он знал, как мечтают домашние заполучить эти денежки – и жена, и невестка, и сын... да и внучка туда же глядит: с чего это вдруг она такая добренькая стала?!

– Дедуля, иди на обед! – крикнула внучка в дверь и убежала. Он медленно встал и зашаркал в столовую. Егора, как обычно, за столом не было, остальные – в сборе. Дарья Петровна разливала по тарелкам щи, пока все рассаживались: он, невестка, полнотелая с маленькими глазами женщина с лицом, к которому будто навсегда приклеилось выражение хмурого недовольства, внучка Даша. За окном голубело какое-то дурацки наивное небо, солнце золотило дашины волосы. Женщины говорили о ценах на продукты и шмотки, в каком магазине что кто видел и, казалось, не могло быть тем более увлекательных. Даша часто включалась в разговор, бойко сыпала цифирками цен и размеров, как бы красуясь, какая она уже взрослая. И как это бывало все чаще Дарья Петровна покачивая головой одобрительно говорила:

– Совсем невеста Даша стала! – Кушай только лучше, половина в тарелке остается! – замечала мать, и ее недовольное выражение несколько смягчалось.

– Мам, да у меня уже лифчик лопается! – возражала Даша.

– Да-а, скоро замуж... – хитро подмигивала бабушка.

– А чего там я не видела? – кокетливо дернув круглым плечом говорила Даша.

– Как зачем, – удивлялась бабушка, – все женятся, а потом детки...

– И то верно, – сказала невестка, косясь на Богомолова. – в девках не засидится, тут и о приданом подумать надо сначала... Вот может родной дедуля поможет...

Все как один замолчали и посмотрели на дедулю.

С перекосившимся в усмешке сухим ртом Богомолов медленно отложил ложку и объявил:

– Все приданое Дашки – в ее жопе!

Даша вспыхнула, швырнула ложку об стол, вскочила и выбежала в другую комнату.

– Ну, дедка! Посмеешься еще у меня! – погрозила кулачком в приоткрытую дверь.

Невестка медленно багровела. Обед был необратимо испорчен.

2

В то утро, не говоря никому ни слова, дед стал собираться на улицу. Невестка и внучка переглядывались с обычным недоумением, и снисходительной насмешливостью молодости и зрелости над бессилием старости: «Никак на свидание собрался!» Старик одел праздничный костюм с орденами и медалями, по поводу которых внучка порой спрашивала бабку:

– А где наш деда воевал?

– На невидимом фронте, – загадочно сообщала бабушка, – он в тылу вражеских шпионов ловил, знаешь сколько их было во время войны!... Без таких как дедуля мы бы войну не выиграли!

Одев костюм, шляпу и взяв палочку, Богомоллов вышел из квартиры впервые за два года. На дворе приветливо светило майское солнце и раздавались ритмичные пушечные залпы: сосед Богомоллова Гайнутдинов бил громадный роскошный ковер – восточный ковер-самолет, который никак не хотел лететь, подвешенный на круглой железной балке, бил во всю евразийскую ширь своих плеч. Выстрелы вдруг прекратились Гайнутдинов увидел Богомоллова и застыл с выпученными бараньими глазами и приоткрытым ртом: он-то думал, что соседа по лестничной клетке снесли на кладбище еще прошлой осенью. Богомоллов двигался через пространство двора упорно, непреклонно, непримиримо, как раненный солдат опирающийся на карабин, оставляя палкой в сухом песчаном грунте цепь неглубоких ямочек, а в окошко с удивлением наблюдали за движениями его шляпы Даша, невестка и жена. В одну из песчаных ямочек провалился паучок и одурело в ней закружился: наверное, она ему казалась огромным карьером, но о паучке этом не знал никто, разумеется, кроме автора, не считающего, что любое ружье упомянутое в начале рассказа обязано выстрелить. Паучок все же благополучно выкарабкался из ямочки и побежал по своим делам, а Богомоллов продолжал пробиваться сквозь аполитичную легкомысленность майского дня с беспamięтно невинным голубеньким небом, веселыми детскими криками, чирикающими воробьями. Он-то думал, что все они виновны, пусть сами того и не ведают, все они в чем-то виновны перед ним – и дети, и небо, и воробьи, и даже веревка меж столбов и сохнувшее на ней белье... виновна вся жизнь перед ним в чем-то большом, главном, что он не мог бы выразить никакими словами (впрочем, это и не имело большого значения), и обидно было то, что все они, все это, прекрасно обходится без него, главного свидетеля и судьи! Но, ничего, он еще им покажет! В автобусе тесно и душно, но молодой юноша с пушком над пухлой губой сразу поднялся при виде его палочки и орденов, освобождая место. Прямо перед ним всю дорогу, привалившись к его коленям из-за тесноты, стояла толстая распаренная тетка, время от времени тяжело вздыхая и перекладывая огромную авоську с грязной картошкой и кочаном капусты из одной руки в другую. Молодой с интересом разглядывал его медали – пусть, пусть мальчишечка глядит на блестящее. На золотой профиль Сталина, он и не знает, что перед ним сидит обладатель великой государственной тайны, тайны неведомой никому в этом душегубном автобусе – ни этому лопухому, ни тетке с картошкой, которая вот-вот испачкает его брюки... тайны, о которой он никому никогда не поведает, о которой никто никогда не узнает и не расскажет другим, о которой не знали всего даже домашние (как делать куклы!) ... К примеру, этот пригородный, так буйно цветущий парк с детскими качелями и каруселями, мимо которого они сейчас едут, где так любят гулять горожане, отплясывать на танцплощадке летку-енку молодые и этот райончик Дутово с частными домиками и садами, где так хорошо растут цветы и самые вкусные в городе яблоки, все это – на месте закрытого для «спецмероприятий» полигона и огромного карьера... И этот стадион Новотрубинска, мимо которого они едут тоже... на месте кладбища... Конечно, время от времени появляются какие-то слухи (народ распустили!) но до фамилий, до имен дело никогда не дойдет. Никогда! Бегай по стадиону, прыгай, набирайся, здоровья лопухий, танцуй с девчонками, залезай под юбку в укромных местечках парка, кушай дутовские яблочки – теперь мы с тобой повязаны!

Наконец он кое-как вылез у краснокирпичного двухэтажного здания с вывеской над подъездом: «Районное отделение милиции №2». Младший лейтенант Коростылев сидел под портретом Ленина за письменным столом с неинтересными бумагами со светлорусой копной на голове, вилами воткнув в нее пять пальцев и скучал по майскому законному дню и от нечего делать раскусывал кроссворд в газете «Известия», как раз остановившись на слове: советский космонавт из шести букв. «Волков... Леонов... – перебирал Коростылев, – во развелось!» когда дверь в кабинет открылась и в помещение, упиравшись палкой в пол, вошел дед в шляпе и направился прямо к столу. Вид медалей всегда напоминал Коростылеву о прошедшем до самого Берлина отце, Коростылев привстал и пригласил старика сесть напротив.

Отдышавшись, Богомоллов поднял лицо. Ленин щурился со стены, чему-то усмехался, будто думая: «Ну и дураки же вы все!»...

– Хочу сделать заявление! – твердо сказал Богомоллов.

– Кто обидел, папаша? – участливо поинтересовался Коростылев. И тут, Богомоллов, опираясь пальцами о стол привстал, весь как-то вывернувшись и выкрикнул:

– Меня обокрали! Он мелко затрясся, плача без слез, и Коростылев живо поспешил к нему, ласково усадил своими большими и мягкими, но удачно дающими в зубы хулиганам, лапами.

– Успокойся, папаша! Разберемся... это кто ж посмел фронтовика!...

– Внучка! Собственная внучка! – рыдал Богомоллов, а Коростылев наливал в стакан воды и подавал.

– Э-э, да тут, знат, дело семейное, – разочарованно протянул он, – может и не стоит сразу с заявлением-то?... – Коростылев страшно не любил и боялся путаных и противоречивых семейных дел, хотя ему вдруг и стало жалко деда... Другое дело убийство... тут все сразу ясно! Кто, кого, чем... С другого конца – в прошлом году баба ходила, жаловалась, жаловалась – мол муж каждую получку избивает, а когда он предлагал подать заявление – в отказ. А перед Новым Годом, в аккурат, спящего топором зарубила.

– Всю жизнь, всю жизнь на них работал, чтобы как люди жили... Я бы и так все отдал! Смерти моей ждут! – вопиял Богомоллов.

– Да что случилось-то? Что?....

Сухие пальцы крепко впились в рукав его кителя.

– Вы советский человек?!... – глаза смотрели упорно, требовательно, мелкокалиберные зрачки застыли, будто поймав цель на мушку.

– Советский папаша, советский, кто еще? Несоветские – они за бугром! – махнул куда-то свободной рукой Коростылев, однако попытавшись освободить рукав.

– Член партии?...

– Пока кандидат... – несколько смутился Коростылев, – но душой...

– Значит наш, на-аш... – хватка несколько ослабла и Коростылев освободил рукав.

– Наш, наш! – посерьезнел Коростылев.

– Дела не надо заводить, заявления не надо, поугатать бы только. Чтоб отдали. Я ее ведь сучку все ж люблю! – ударил кулаком по казенному ребру стола старик.

– Да в чем дело, папаша!

– Сберкнижку украли! В ней вся жизнь моя! Все труды!... – и старик отпустив рукав залился уже настоящими слезами.

– Э-э, – Коростылев сел и откинулся в испуганно взвизгнувшее старыми пружинами кресле. – Так может и кражи-то никакой не было, может быть вы ее сами, папаша, куда-нибудь того и забыли?... Да и с какой такой стати сберкнижку красть – без паспорта-то деньги не выдают!

– И ни-ни! – погрозил пальцем Богомоллов. – Я всегда точно знаю, где она положена! Я скорее, где моя задница забуду! Нет ее там! А кто мог взять? Все она, дура Дашка!

3

– А может ты ее в Ленина спрятал? – спросила Дашка.

Уже в десятый раз Богомоллов с окаменевшим, почти страшным лицом, перебирал содержимое письменного стола: партбилет (прежде всего!), паспорт, наградные книжки, многочисленные характеристики от парторганизаций, в которых приходилось состоять с неизбежными фразами (будто все эти характеристики писаны одним человеком, несмотря на различную географию мест их происхождения – от Атлантики до Тихого Океана): «морально устойчив», «постоянно повышает свой идейно-политический уровень»... – все на месте! Кроме одного, главного... Дарья Петровна и невестка Люба уже в который раз пересматривали одеж-

ную и бельевую секции в ореховой румынской стенке с золоченными ручками, перетряхивали простыни, пододеяльники, наволочки, платья, халаты, майки, трусы, шарилы в карманах курток, пальто, плащей и дубленок. Удивительно, как много в доме мест могущих быть потенциальными тайниками! Дашка даже облазила весь пол, приподнимая ковры, заглядывала за новый недавно купленный цветной телевизор «Электрон» вместо исправно прослужившего 15 лет черно-белого «Рекорда» ... – Ничего!... Кажется, неохваченная поиском оставалась лишь единственная в доме книжная полка с полным собранием сочинений Владимира Ильича Ленина – подарок Богомолу от парткома к пятидесятилетию. С тех пор тома стояли почти нетронутые, почти новенькие, один к одному, поблескивая сквозь стекло прямыми золотыми буквами, разве чуть потускневшие за четверть века. И вот впервые за все это время этих переплетов коснулась девичья рука. Даша начала с первого тома, почувствовав почти древесную прочность и выскальзывающую гладкость обложки вместе с какой-то вызывающей в спине неприятные мурашки мелкой рубчатостью. Она перелистывала том за томом, раскрасневшись, вспотев, поминутно сдувая падающую на глаза прядь. Время от времени ей попадались заглавия, то будто понятные, то совсем непонятные, от сложности которых кружилась голова: «Что делать?», «Шаг вперед, два шага назад», «Как нам реорганизовать рабкрин?», «Империализм и империокритицизм» (второе слово она даже не пыталась дочитать). «Письма издалека»... Даша вдруг замечталась, приоткрыв рот, ей представился молодой солдат, который пишет ей письмо с дальней заставы: думаю, мол, о тебе, люблю, скучаю... И она отвечает: жду, мол, верна мол... Она перелистывала страницы дальше, чувствуя, как все более тяжелеет голова от немыслимой бездны, отделяющей ее от этих томов. Разве только Бог и смог бы исписать столько страниц! Но Бога нет, это она усвоила намертво, со школы, с детского садика, с яслей от тех, кто ее кормил, растил, воспитывал, а величие Ленина она ощущала тем более, чем он ей казался менее и менее понятным. Правильно, Бога нет, но был Ленин, равного которому среди людей никогда не было и не будет! И в кумачевом тумане, затопившем голову, явились строки, выложенные красным кирпичом на карнизе школы: " Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!" На миг она отключилась, засмотревшись в бессовестно голубенькое окно. „Был бы жив Ленин, – подумалось ей, – был бы уже коммунизм!" ... И ей представилось: идет она в магазин «Одежда» и выбирает самое красивое платье, и просто берет его, ничего не заплатив! Или – в магазин «Обувь», а там туфельки новые, югославские! И берет, опять ничего не заплатив!... Или в магазин «Продукты», а там колбаса лежит, любая – хоть докторская, хоть краковская – бери сколько хочешь!... Бесплатно!! Когда она дошла до тридцатьседьмого тома ей неожиданно сташно захотелось есть.

– Мама, у нас колбаска еще осталась? – закричала, вскочив. И в этот момент прозвучал звонок в дверь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.